

Там осталось

Век Юрия Завадского

ТАМ, где-то в Риге осталось: гастроль Моссовета, "Виндзорские проказницы", двенадцатый час — и через площадь со шляпой в руке, сверкая непокрытой лысиной, через площадь кланяться идет Завадский.

У нас поезд в двенадцать, мы не досмотрели спектакль и, убегая с родителями из театра на вокзал, оглядываюсь на знаменитую фигуру, спрашиваю:

— Мама, кто это?

И она отвечает:

— Смотри — Завадский...

Через пять лет: лето, ГИТИС, поступаю на режиссерский, курс Завадского, нас прослушивает верный его педагог Сергей Александрович Бенкендорф, читаю Багрицкого и кручу, подбрасываю карандаш одновременно.

— Что у тебя в руке? — кричит Бенкендорф.

— Карандаш, — отвечаю я и хочу его спрятать, но Бенкендорф фыркает и говорит:

— Ты поступишь!

— Почему? — удивляюсь я.

— Сам увидишь, — отвечает.

И я вижу: третий тур, тот же лысый Завадский опаздывает, протискивается к столу, успевая улыбнуться всем условной своей лисьей улыбкой, садится, извлекает из кармана целую оboйму цветных карандашей, они распадаются веером, а я, читая Багрицкого, смотрю, смотрю и понимаю, что поступил, у нас одни и те же привычки...

А потом — занятия без него, байки педагогов про какого-то мифического нашего руководителя Завадского, редкие появления все с той же хитрой полуулыбкой, карандашами, взгляд из-под очков, внезапный деланный гнев, почти крик:

— Вы должны меня удивлять, чем вы можете удивлять в этом хаосе, в этой грязи?

И обводит взглядом аудиторию, нас, сжимающихся в комки, чтобы никогда не простить ему редких приходов, этого безапелляционного требования удивлять и устраивать ему почему-то праздник...

А потом, после института, когда пришло наше время устраивать праздники советским людям на сценах всегда готовых к празднику советских театров, я сижу в его комнате, слушаю рассказы о поставленной им когда-то в Югославии "Чайке", и после фразы об оформлении:

— Я велел художнику расположить оформление по четырем планам, ну, ты знаешь...

— Я ничего не знаю, — отвечаю я. — Как это "по четырем планам", вы нам никогда не рассказывали.

— Неужели? — радостно спрашивает он, продолжая возводить карандашом на листе какую-то странную цветную мозаику из кубиков, напоминающую праздник.

ОН ВООБЩЕ был хитрец. Мы стоим у Зала Чайковского, вдвоем, недалеко от Театра Моссовета, над площадью Маяковского — светящаяся надпись, я говорю:

— Какая глупость, правда, Юрий Александрович, — "Превратим Москву в образцовый город"?

Ему не нужно высоко запрокидывать голову, чтобы увидеть надпись, я не вижу его улыбки в полутьме вечера, я только догадываюсь о ней и слышу внезапно:

— Образцовому городу — образцовый театр.

Позже он объяснит мне, что этот бредовый лозунг, возникший на Триумфальной, принес благополучие его театру, Театру Моссовета.

Первый курс, юбилей Театра Моссовета, я стою в кулисах, там, где первокурсники, ученики, в ожидании своего выхода, по ту сторону рояля стою, на который он кладет, обращившись к нам после очередного поздравления, цветы, ярусы, ярусы, какой-то медно-золотой блеск, блестит рояль, блестит его лысина, он делает широкий танцевальный шаг навстречу каждому поднимающемуся на сцену, берет цветы, выслушивает и, обернувшись к нам, ко мне, кладет цветы на рояль.

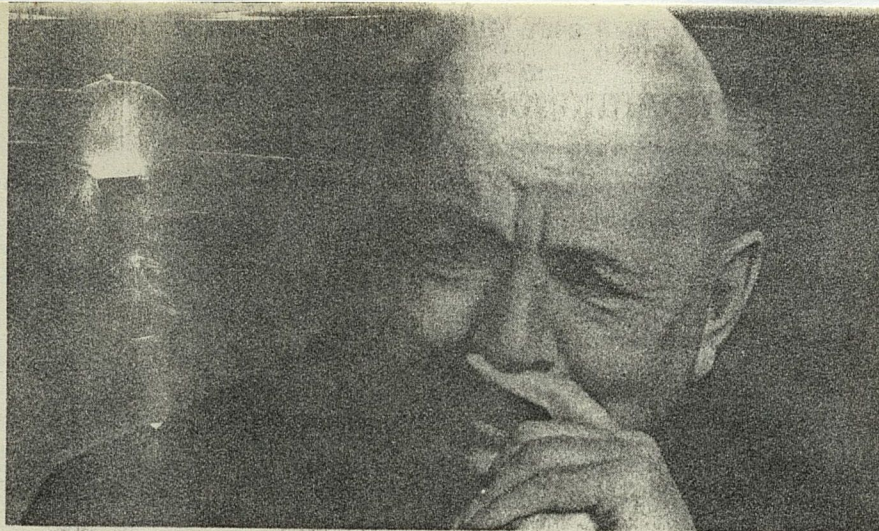
Выходит Софронов, одышливый, не имеющий никакого отношения ни к ярусам, ни к нему, говорит, что рождением своим как драматурга он обязан Завадскому, зал почему-то хохочет, они обнимаются, Юрий Александрович поворачивается, чтобы положить цветы, видит мрачную мою физиономию и хитро, очень хитро корчит мне какую-то глумливую рожу. Мне, или Софронову, или кому-то еще? Не знаю.

На каждом его рисунке, посылаемом Маречкой, а он все свои импровизации на бумаге отдает ей, несмотря на сюжет, вопреки сюжету, — маленький согбенный человечек, почти гадкий в угодливости, меньше горшка с цветами в масштабе на том же рисунке.

— Кто это? — спрашиваю я. — Почему везде?

Он загадочно:

— Все мы когда-нибудь бываем такими...



Мой учитель, один из немногих уцелевших из той компании высоких, элегантных, хорошо одетых режиссеров, всегда чисто выбритых и вкусно пахнущих, — и этот согбенный человечек?

Я не верю, не понимаю и начинаю догадываться только, когда он говорит однажды:

— Ты не думай, я ведь тоже сидел тогда, в двадцатых, камера переполнена, ужасный запах, параша, три дня рядом с парашей спал на полу.

— За что? — спрашиваю я.

Он продолжает:

— Вот говорят: Завадский, легкая жизнь, а ведь я мог погибнуть тогда, Верочка спасла.

"Верочка" — это Маречкая. И о своем волшебном спасении после хождения Верочки по инстанциям он говорит со слезами в голосе.

Я не верю рассказам о параше, хотя знаю, что он говорит правду.

— В тридцать седьмом, когда я понял, что может наступить конец, я пришел в Комитет по делам искусств к Храпченко и сказал: "Хочу быть полезен Родине, в Москве слишком много театров, отправьте в мой Ростов, Ростову нужен настоящий театр". Ты представляешь, как удачно я решил тогда, если бы мы остались в Москве в 37-м году, ты представляешь, что могло бы быть? А через пять лет я вернулся, пришел все к тому же Храпченко, получил работу в Москве и по одному вызволил их оттуда, сначала Верочку, потом Славу, потом Мордвинова. Да, знаешь, и спектакли у нас там были замечательные, это не так страшно — провинция, но Ростов, конечно, особый случай, я руководил театром, построенным в форме трактора!

Он смеется:

— Ну да, ну да, таким же нелепым, как этот Красной Армии — звездой, но руководил, и, представь себе, спектакли были хорошие. Ах, как Славошка играл в "Днях нашей жизни"! Да, надо уметь принимать правильные решения...

ЕЩЕ несколько лет, на работу не берут, я — беспартийный еврей с явно прорежавшейся сомнительной режиссерской эстетикой, он пригревает меня в своем театре, где, как и многие ранее пригретые им режиссеры, я должен пасти труппу, ублажать знаменитых актеров, позволявших себе иногда посещать твои репетиции; я жирую в отсутствие какой-либо творческой деятельности, кроме созерцания этих знаменитостей, их разговоров о строительстве дач, киногонорах, болезнях, страшная привилегированность и праздность разлиты вокруг меня по всем репалам театра: спектакли ставятся годами, десятилетиями, я умоляю его или дать мне репетировать безжалостно, невзирая на характер звезд, или отпустить; я прошу устроить просмотр сделанного Несделанного мной и объяснить им, что наступило время начать работать существенно, я согласен быть врачом в этой больнице, но не сиделкой при этих богатых, симулирующих болезнь пациентах-актерах; он продолжает воздвигать один цветной кубик на другой на листе бумаги, легко соглашается со мной, я начинаю просматривать Несделанного, жду справедливости, он придет и скажет актерам:

— Так работать нельзя, у него интересный замысел, прислушайтесь к нему, я ему доверяю.

Он пришел и сказал:

— Все в вас, режиссура здесь мало что значит, здесь важно ваше понимание.

Я выхожу из комнаты, чтобы не вернуться туда никогда, я выхожу, чтобы так никогда и не понять — каким же все-таки образом возникает в этом театре пестрая, бесконечная лента репертуара, каким мановением руки, из какого волшебного цилиндра? Я уничтожаю память об этих репетициях, как болезнь.

Воспоминания о его спектаклях: какие-то великолепные дворцовые пространства, в центре которых что-то сверкающее, как елка, холодноватые пространства, но готовые притвориться теплыми, готовые принять даже детей, эйфория звуков, здесь музыка чувствует себя вольготно. Возможно, цитаты из спектаклей великих своих учителей. Все это неглубоко и блестяще, все это рассчитано на впечатление, роскошное, богатое, желательное легкое, как воздух, но все же иногда немного тяжеловесное из-за этих бесконечных, десятилетиями репетиций и безграничного доверия актеру. Но все это, несомненно, Театр.

Он спит каждый день на протяжении всей жизни с двух до пяти обязательно. Он принимает, он принимает таких, как я, гостей лежа, не будучи лентяем, он очень, очень бережет себя, в нем праздность знающего жизнь человека, он живет от самого себя поступка, он знает час и время, когда он должен этот поступок совершить; мой учитель, он лежит на диване, один в пятикомнатной квартире, домработница ушла, оставив ему этикетки на банках с крупой, чтобы не ошибся, где рис, где гречка. Он говорит, и я наворачиваю эти безжалостно по его вине потерянные режиссерские годы, когда он ничего не говорил нам и многие начинали презирать его за красоту, за вечную молодость, за праздность и за эти неуместные требования в редкие приходы создавать для него праздник.

Я люблю его за то, за что и ненавижу. За красоту, за праздность, за хитрое удивление на лице: как, неужели я вам этого не рассказывал? Он самый лукавый человек на земле.

ЗИМА, несколько недель до его смерти, приступы резкой боли в желудке, те же, что и тогда, в двадцатых, у его любимого учителя Вахтангова; но и боль в отличие от той, вахтанговской, его пощадила, длилась очень недолго, просто он начал терять силы.

Я сижу у его постели и говорю, что только что видел в английском журнале снимок души.

— Как это?

Я рассказываю о датчиках, приставленных по договоренности с умирающим к его остывающему телу, чтобы проследить — куда уходит последнее тепло, о том, что оно никуда не уходит, а концентрируется в том месте, где солнечное сплетение, а потом светящимся пучком вырывается в пространство.

Он плачет.

— Ты веришь? — спрашивает он. — Ты в это веришь?

— Да, — отвечаю я.

И вот завещание, заставившее все советское и партийное руководство города несколько ночей ворочаться в догадках.

Завещал похоронить себя в ногах у мамы, в ее могиле, что означало отказ от места на Новодевичьем, всей жизнью зарезервированном за ним.

Нелепая урנוчка вместо тела, стоящая почему-то в гробу, он не хотел, чтобы его видели другим, не хотел портить людям воспоминания о празднике; кто-то, стоя у гроба, плачет, кто-то думает, как жить дальше, воспользовавшись его именем. "Образцовому городу — образцовый театр". Кто-то тут же забывает, что он вообще был когда-то на свете, а я спешу на вокзал, не досмотрев великолепных Виндзор, оглядываясь на высокого красавца, полубога, с непокрытой головой идущего на поклон в театр через площадь, в полусумраке рижского лета, я спешу на вокзал, в руках у нас чемоданы, оставленные на время спектакля в гардеробе, я оглядываюсь и спрашиваю маму:

— Кто это?

Она говорит:

— Завадский.

И я оглядываюсь, оглядываюсь.

Михаил ЛЕВИТИН

елит. газ. - 1994 - 6 июля - с. 8.